

Зиновий Гердт:

«Хочу досмотреть эту драму»

— Я с удивлением обнаружил, что политизирован гораздо больше, чем все мое окружение. Слушаю новости, с азартом смотрю программу «Время». Становлюсь «пикейным жилетом». Никогда раньше не замечал за собой таких склонностей. Последние пять лет нас всех здорово перекроили. Как-то раз у нас гостила знакомая, гречанка, часто бывавшая в Москве. Вдруг заявляет, что ей необходимо срочно вернуться домой: там назначены выборы. «Да ты с ума сошла! Без тебя, что ли, не выберут?» — удивились мы. «Вам этого не понять», — и улетела.

Прошло не так уж много времени. Надо отдать голос за Бракова или за Ельцина. А у нас с Татьяной Александровной билет на поезд на субботу. Мы плюем на поезд, плюем на купе, в восемь утра в воскресенье отправляемся на избирательный участок, голосуем и прямо оттуда мчимся в аэропорт...

Это новое качество, в которое я влип, для меня чрезвычайно неожиданно. Вся моя жизнь прошла в атмосфере тотальной лжи. И оказалось, что я очень пристрасно, даже страстно отношусь к правде. Говорят, перед смертью не надыхаешься. Но я стараюсь...

У меня никогда не было животного цепляния за жизнь, желания продлить ее во что бы то ни стало. Только беспокойство: «А как они будут без меня?». Вариации шестьдесят шестого сонета. Ведь от меня зависит довольно много людей. Я имею в виду душевную зависимость. А теперь еще одно крепко держит на свете. Хочу досмотреть эту пьесу, эту драму, хотя бы до того действия, когда уже будет предсказуем финал.

— Но, судя по тому, что вы только что говорили, вы не способны оставаться холодным «зрителем»...

— Да, мне до всего есть дело, всех жалко. Я же гражданин этой страны и другого гражданства для себя не мыслю. Как-то я написал в анкете: «Выезжал за границу 79 раз, возвращался 84...». Она до сих пор лежит в отделе кадров одного весьма солидного учреждения. Вижу беженцев — закутанных детей, измотанных женщин, беспомощных, растерянных мужчин — больно до слез. А потом смотришь, как мы принимаем так называемую «гуманитарную помощь», — и не

«Так вышло, что у меня получился непредвиденный перерыв в работе, я немного захворал, и высвободилось время для размышлений...» — признается Зиновий Ефимович. Встретиться с актером, возвратившимся домой из больницы, оказалось не очень-то просто. Но наш разговор, несмотря на протесты домашних, состоялся. Перед вами — мысли, навеянные недолгим, вынужденным покоем...

знаешь, гневаться или смеяться. Раньше сами посылали самолеты с продовольствием и медикаментами в Эфиопию, теперь к нам летят спасать. Так хоть бы хватило ума и совести не вставать в позу, выражать благодарность не столь снисходительно-высокомерно!

К сожалению, человек не беспамятен. Я видел социализм двадцать лет назад. Такое видел, что самому фанатичному марксисту и не снилось. В Швеции... Люди вкалывают, как черти, работоспособность невероятная. И платят огромные налоги, чтобы гарантировать защищенность беспомощным членам общества. Главное, что у них есть душевная потребность это делать. Наша бедность, материальная неустроенность — еще не самое страшное.

Я опять-таки обращаюсь к собственному банку памяти и понимаю, что живем плохо, скудно, но не хуже, чем в предыдущие периоды нашей истории. Мне есть с чем сравнивать. Помню вожаки-депутаты своего детства: нашел буханку хлеба и несую домой. Позже, правда, на прилавках появилась икра. Но кто ее покупал? Для меня это было невыноси-

мо дорого — четыре пятьдесят кило!..

К нищете нам не привыкать. А вот нравственное, душевное наше состояние нормализовать гораздо сложнее. У меня есть фронтовой друг, который не может расстаться со Сталиным. Нет у него такого механизма в сознании, чтобы перевести часы. Я его не осуждаю. Он не врал, не воровал, не убивал. Ему скоро восемьдесят лет. Пусть доживает со спокойной совестью. Иначе получится вся его жизнь насмарку, как и не было человека.

— Последние годы что-то перемены в вашем сознании?

— У нас всех общий путь — из перерожденных стать рожденными. Конечно, то, что передо мной стоит диктофон, а я разговариваю совершенно свободно, — это немыслимый скачок. Не перестаю удивляться, слыша с экрана вещи, за один намек на которые люди совсем недавно обречались на двадцать пять лет Колымы. Я всякий раз непроизвольно думаю: «Господи, какие они смелые! Как же их не пугает, что все еще может повернуться вспять, а слова уже вылетели, зафиксированы на бума-

ге...» Просто груз страха у них намного меньше моего. Этот груз, накопленный мною, ровесником государству, так весом, что подчас сковывает и язык, и мысль. Хотя, разумеется, есть круг друзей, с которыми я всегда был прям и искренен.

Главное, начинаешь понимать, что процесс истории — это живой процесс. Слова и деяния многолетней давности, благодаря рассекречиванию архивов в конце концов становятся всеобщим достоянием. Так было, так будет всегда. Поэтому, не занимайтесь же мракобесием, ныне живущие! Вот, например, у нас с Александром Трифоновичем Твардовским был общий знакомый, всю жизнь проповедовавший косные, реакционные, неразумные взгляды. То есть по тем временам, конечно, разумные. И вдруг, миновав шестьдесятлетний рубеж, он засуетился, стал делать, делать, делать добро, часто анонимно. Я сказал: «Смотрите, Александр Трифонович, как переменялся NN». Он ответил: «Потому что умный. Потому что болен. Потому что знает, — умирать надо в чистом белье».

Мы торопимся оставить после себя осязаемую память: переписать на детей дачу, автомобиль... Ерунда! Единственное, о чем я мечтаю, — это, чтобы однажды кто-нибудь спросил у моего внука: «Слушай, а тот Гердт, хромой артист, тебе случайно не родственник?» — «Дед. А что?» — «Вчера в одном доме говорили, что он был порядочным человеком...» Впрочем, я зановую. Ничего я не сделал особенного, чтобы заслужить такую реплику...

— Недавно вы принимали участие в вечерней передаче для детей и неожиданно повели разговор об интеллигентности...

— Честно говоря, я сам смутно помню, что тогда болтал. Съемка была совершенно спонтанной. Талантливейшая Наташа Державина просто нахально ворвалась ко мне со своей куклой, и тему определял ее поросенок... А вообще я считаю, что с детьми не надо много разговаривать. Они живут в большей степени глазами, чем ушами. Воспитывать можно только наглядно, собственным примером. То есть в первую очередь самому быть воспитанным. Кстати, в Японии термин «воспитание» отсутствует. Ко-

гда мы там гастролировали, во время одного из спектаклей на сцену вдруг выползла девочка лет двух, двух с половиной. У нас бы мгновенно — смех, крики, а тут никто даже не среагировал. До определенного возраста ребенок растет свободно, а потом сам начинает приглядываться, соответствует ли его поведение общепринятым нормам. И сам себя корректирует. Нация формирует поколение. У нас все наоборот. Каждый считает своим долгом поучать, сам ничему толком не научившись.

Я помню себя с трех лет. Все мое детство состояло из сплошных запретов. Нельзя, нельзя, нельзя... Я стараюсь облегчить жизнь своему внуку, подарить ему возможно больше радости. Лучшая педагогика — педагогика разрешения: можно, можно, можно! Не сковывать проявления детской воли, не угрожать наказанием. Единственно, если поступил не по правде, не по справедливости, — тогда просто гнать в шею!.. Когда внук возвращается домой расстроенный (получил тройку), я говорю ему: «Плюнь! Ты все поймешь и еще сто раз исправишь. Иди гуляй, играй в футбол, отправляйся в кино, только не маячь с кислой миной. Мне не нужны твои пятерки, я хочу видеть тебя порядочным человеком». До меня косвенным образом доходят слухи, как он вел себя в том или ином случае, и я удовлетворен.

Раньше был очень популярен избитый лозунг: «Дети — наше будущее!» А я его переделал на свой лад: «Дети — наше прошлое...». Ну какое у меня будущее? Я буду лежать в могиле. Зато в моем прошлом есть масса такого, чего я не пожелал бы своему внуку и от чего в меру сил постараюсь его избавить.

Присутствие в доме ребенка очень меня приструнивает. Не в смысле «цирлих-манрильх», какого-то слова не произнести, выразиться поаккуратней. Ему двенадцать лет, я его даже при желании ничему новому не научу. Он все эти слова знает лучше меня. Но я строже смотрю на себя со стороны: нет ли противоречия между моими словами и делами? Дети очень остро чувствуют фальшь. Мне кажется, у меня получилось бы работать, например, в детском доме. Вырастить нескольких честных людей — это уже очень много.

— Вы надеетесь, что поколение вашего внука даст больше интеллигентов, чем поколение их родителей?

— Да, надежда на «второе пришествие» интеллигентности остается. В нашем народе, в самых разных его слоях, сохранились люди с очень сильным человеческим стержнем. Они могут не заниматься умственным трудом, не веровать, их всю жизнь окружала ложь, однако они не способны на подлость, на вранье. И жена его будет пилить, и соседи посмеиваться, а он — дурак, Дон Кихот, и иным быть не может. И окружающих это ранит: значит — не все одинаковые, значит — он не такой, как мы.

Ведь с внешней атрибутикой гораздо проще. Мanners даже в актерских вузах преподают. В «Щуке», помню, была такая старушка-аристократка, обломок дворянства. Объясняла, что с курицей нельзя расправляться руками, только ножом и вилкой. «А вот там есть очень удобные места, хочется ухватиться...» Она поднимала глаза и спокойно отвечала: «Перетерпите». Но интеллигентность — это же не только умение прилично себя вести. Это даже не просто нравственный кодекс. Это прежде всего широкий взгляд на мир. Мы должны прививать себе и своим детям планетарное мышление.

В одну московскую семью приехала погостить английская школьница. Заметила незавернутый кран, сказала хозяйке. Та смеется: «Не волнуйся, Салли, у нас вода дешевая». «Я не о том», — отвечает девочка. — «А где-то в Нигерии сейчас совсем нет воды...». Боюсь, женщина ничего не поняла. Мы слишком долго существовали отдельно от всей цивилизации.

— Не считите вопрос бестактным, — случались ли у вас неприятности на почве «пятого пункта»?

— По большому счету, обошлось. Судьба была ко мне милостива. Все ограничивалось мелким, обывательским уровнем. Видите ли, меня узнают на улицах, улыбаются, со мной раскланиваются в очередях. Я понимаю, это просто синдром популярности: «Вот он идет, живой!». Пока... Никакой моей заслуги здесь нет. И все-таки, мне кажется, что появился я на самом разнузданном митинге «Памяти», кулак, занесенный над моей головой, остановился. Ну невозможно меня ударить, не поднимется рука! Фронтовик, раненый, какой-никакой, но довольно известный артист... Хотя однажды, много лет назад, я оказался в очень гадкой и небезопасной ситуации. Но тогда нашелся русский, православный человек, который встал на мою сторону.

Знаете, что меня еще очень корбит в деятелях «Памяти»? То, что они именуют себя патриотами. Какая безвкусица, какой штам! «Я — патриот!» Значит, все остальные автоматически — не патриоты. Но если бы вкуса и такта не хватало только им...

— Вам приходилось совершать ошибки, Зиновий Ефимович?

— Я всю жизнь занимался не своим делом. Меня нельзя приписать к актерам «от Бога». Все вышло случайно, и удержало меня в профессии только мое безволие. Вкусил — и не смог бросить плод, сил не хватило. Моя единственная страсть — русская словесность. В домашней библиотеке — поэзия и словари. Ничего не читал с таким наслаждением, как Далай Я могу проведи за этим остаток жизни. Прислушайтесь, как мы косноязычны. Как уродлив язык наших лидеров. Полное отсутствие синонимов! Вроде бы речь гнется гладко, но вся она — сплошь штампы и банальности.

Недавно я сделал лингвистическое открытие, — докопался до происхождения слова «говядина». Откуда оно взялось, какой в нем корень? А если так: мясо в Петербург поставляли из Латвии. По-латвийски королева — «гов». Очень может быть, что я ошибаюсь или это и без меня давно известно, но я восторге, что дотумкал до этого собственной головой.

— Как же случилось, что ваше призвание не удержало вас от актерской карьеры?

— Не только не удержало, но даже подтолкнуло. Моя подлинная «профессия» — читатель стихов. Не путать с чтецом. Увижу где-нибудь строчки столбиком, — не успокоюсь, пока не прочту. А окончил после средней школы ФЗУ. По специальности слесарь-электрик. Между прочим, строил Московское метро. Однажды увидел на заводе объявление: «Приходи к нам в ТРАМ!» Мне пятнадцать лет было. Думаю: пойду к ним в ТРАМ, раз приглашают. Захожу. «Стишок какой-нибудь знаешь?» Стишок я знал. Меня приняли, и пошло-поехало... Уже будучи актером, я не пропускал ни одного поэтического вечера. Помоему, авторское исполнение стихов — самое верное. Ефтушенко все-таки чересчур актерствует. А с какой великолепной невнятиостью, неразборчивостью проговаривает свои стихи Бродский! Как читал Пастернак!..

У меня в крови потребность обезьянничать, я запомнил манеру декламировать, подыwania, придыхания, писал пародии и немножко изображал. Конечно, это были влюбленные шаржи. Шаржи на возлюбленных поэтов. Как раз появились первые громоздкие магнитофоны, кто-то записал меня на пленку, она разошлась, и однажды тогдашний главный редактор радиовещания Лапин пустил несколько моих пародий в эфир. Вскоре, пятого мая, в День печати, меня выволокли на сцену Колонного зала. Так я очутился на эстраде и не слезал оттуда 15 лет. Я был обречен на успех, поскольку пародистов тогда пересчитывали по пальцам.

— И как же себя сегодня чувствует актер Зиновий Гердт?

— Плохо чувствую. Хотя было достаточно времени приспособиться. Я не заблуждаюсь относительно своих возможностей, они очень скромные.

Но уж раз эта профессия вошла в мою плоть и кровь, у меня периодически возникают новые планы. Хочу сыграть монспекталя по Бабелевскому «Закату». Мне кажется, это мое. Есть уже и театральные постановки, и несколько фильмов, но они поверхностны. Я мечтаю передать дух Бабеля, его глубины, донести до зрителя каждое слово, каждую ремарку. Так и буду, не торопясь: «Сцена первая. Столовая в доме Криков...» Вот только надо найти режиссера, адекватно воспринявшего этот текст. Подумаем...

Беседу вела
Елена ЯМПОЛЬСКАЯ.

